# Петербург (Так вот он, прежний чародей)

***Так вот он, прежний чародей,
 глядевший вдаль холодным взором
 и гордый гулом и простором
 своих волшебных площадей,—
 теперь же, голодом томимый,
 теперь же, падший властелин,
 он умер, скорбен и один…
 О город, Пушкиным любимый,
 как эти годы далеки!
 Ты пал, замученный, в пустыне…
 О, город бледный, где же ныне
 твои туманы, рысаки,
 и сизокрылые шинели,
 и разноцветные огни?
 Дома скосились, почернели,
 прохожих мало, и они
 при встрече смотрят друг на друга
 глазами, полными испуга,
 в какой-то жалобной тоске,
 и все потухли, исхудали:
 кто в бабьем выцветшем платке,
 кто просто в ветхом одеяле,
 а кто в тулупе, но босой.
 Повсюду выросла и сгнила
 трава. Средь улицы пустой
 зияет яма, как могила;
 в могиле этой — Петербург…

Столица нищих молчалива,
 в ней жизнь угрюма и пуглива,
 как по ночам мышиный шурк
 в пустынном доме, где недавно
 смеялись дети, пел рояль
 и ясный день кружился плавно —
 а ныне пыльная печаль
 стоит во мгле бледно-лиловой;
 вдовец завесил зеркала,
 чуть пахнет ладаном в столовой,
 и, тихо плача, жизнь ушла.

Пора мне помнится иная:
 живое утро, свет, размах.
 Окошки искрятся в домах,
 блестит карниз, как меловая
 черта на грифельной доске.
 Собора купол вдалеке
 мерцает в синем и молочном
 весеннем небе. А кругом —
 числа нет вывескам лубочным:
 кривая прачка с утюгом,
 две накрест сложенные трубки
 сукна малинового, ряд
 смазных сапог, иль виноград
 и ананас в охряном кубке,
 или, над лавкой мелочной,
 рог изобилья полустертый…
 О, сколько прелести родной
 в их смехе, красочности мертвой,
 в округлых знаках, букве ять,
 подобной церковке старинной!
 Как, на чужбине, в час пустынный
 все это больно вспоминать!

\_\_\_\_\_\_\_\_

Брожу в мечтах, где брел когда-то.
 Моя синеющая тень
 струится рядом, угловато
 перегибаясь. Теплый день
 горит и ясно и неясно.
 Посередине мостовой
 седой, в усах, городовой
 столбом стоит, и дворник красный
 шуршит метлою. Не горя,
 цветок жемчужный фонаря,
 закрывшись сонно, повисает
 на тонком, выгнутом стебле.
 (Он в час вечерний воскреснет,
 и свет сиреневый во мгле
 жужжит, втекая в шар сетистый,
 и мошки ластятся к стеклу.)
 Торчит из будки, на углу,
 зеленовато-водянистый
 юмористический журнал.
 Три воробья неутомимо
 клюют навоз. Проходят мимо
 посыльный с бляхой, генерал,
 в носочках лунных франт дебелый,
 худая барышня в очках,
 другая, в шляпе нежно-белой
 и с завитками на щеках,
 чуть отуманенных румянцем;
 газетчик, праздный молодец,
 в галошах мальчик с пегим ранцем,
 шаров воздушных продавец
 (знакомы с детства гроздь цветная,
 передник, ножницы его).
 Гляжу я, все запоминая,
 не презирая ничего…

Морская улица. Под аркой,
 на красной внутренней стене
 бочком торчат, как гриб на пне,
 часы большие. Синью жаркой,
 перед дворцом, на мостовой
 сияют лужи, и ограда
 в них отразилась. Там, вдоль сада,
 над обольстительной Невой,
 в весенний день пройдешь, бывало:
 дворцы, как призраки, легки,
 весна гранит околдовала,
 и риза синяя реки
 вся в мутно-розовых заплатах.
 Два смуглых столбика крылатых
 за ней, у биржи, различишь.
 Идет навстречу оборванец:
 под мышкой клетка, в клетке чиж;
 повеет Вербой… Влажный глянец
 на листьях липовых дрожит,
 со скрипом жмется баржа к барже,
 по круглым камням дребезжит
 пролетка старая,— и стар же
 убогий ванька, день-деньской
 на облучке сидящий криво,
 как кукла мягкая… Тоской
 туманной, ласковой, стыдливой,
 тоскою северной весны
 цветы и звуки смягчены.
 Да, были дни,— но беззаконно
 сменила буря тишину.
 Я помню, город погребенный,
 твою последнюю весну,
 когда на площади дворцовой,
 махая тряпкою пунцовой,
 вприсядку лихо смерть пошла!
 Уже зима тускнела, мокла,
 фиалка первая цвела,
 но сквозь простреленные стекла
 цветочных выставок протек
 иных, болезненных растений
 слащавый дух, подобный тени
 блудницы пьяной, и цветок
 бумажный, яростный и жалкий,
 заместо мартовской фиалки,
 весной искусственной дыша,
 алел у каждого в петлице.
 В своей таинственной темнице
 Невы крамольная душа
 очнулась, буйная свобода
 ее окликнула,— но звон
 могучий, вольный ледохода
 иным был гулом заглушен.
 Неискупимая година!
 Слепая жизнь над бездной шла:
 за ночью ночь, за мглою мгла,
 за льдиной тающая льдина…
 Пьянел неистовый народ.
 Безумец, каторжник, мечтатель,
 поклонник радужных свобод,
 картавый плут, чревовещатель,—
 сбежались все; и там и тут,
 на площадях, на перекрестках,
 перед народом, на подмостках
 захлебывался бритый шут…

Не надо, жизнь моя, не надо!
 К чему их вопли вспоминать?
 Есть чудно-грустная отрада:
 уйти, не слушать, отстранять
 день настоящий, как глухую
 завесу, видеть пред собой
 не взмах пожаров в ночь лихую,
 а купол в дымке голубой,
 да цепь домов веселых, хмурых,
 оливковых, лимонных, бурых,
 и кирку, будто паровоз
 в начале улицы, над Мойкой.
 О, как стремительно, как бойко
 катился поезд, полный грез,—
 мои сверкающие годы!
 Крушенье было. Брошен я
 в иные, чуждые края,
 гляжу на зори через воды
 среди волнующейся тьмы…
 Таких, как я, немало. Мы
 блуждаем по миру бессонно
 и знаем: город погребенный
 воскреснет вновь, все будет в нем
 прекрасно, радостно и ново,—
 а только прежнего, родного,
 мы никогда уж не найдем…***